красная книга русской прозы

# Василь Быков

## Сотников

повести

# Обелиск

## Василий Владимирович Быков

Аннотация

Василь Быков. Обелиск

## Аннотация

Безымянный герой повести приезжает на похороны скоропостижно и безвременно скончавшегося Павла Миклашевича, простого сельского учителя. Здесь он знакомится его бывшим начальником Ткачуком, старым партизаном, который рассказывает ему историю об учителе Морозе и его учениках, среди которых был и Миклашевич.

Это случилось в годы войны, когда Белоруссия была оккупирована войсками вермахта. Мороз пожертвовал жизнью ради своих учеников, но на обелиске нет его имени, хотя его постоянно кто-то дописывает.

Интересная и грустная история об отваге, доблести и чести людей, подвиги которых несправедливо забыли.

# Василь Быков
# Обелиск

За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой — пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной — пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, доотк­ладывался до того, что стало поздно собираться в гости — пришло время ехать на похороны.

Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутливыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.

— Слыхал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.

— Как умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.

Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах — какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины — ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.

Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее — исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось

это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, — побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал, как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку, — штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу — голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя,

остановилась на обочине и взяла нас — меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.

В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, плавно покачивало на пологих взгорках — то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо — несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор — пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой[1]. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханных бороздах с сухой, полегшей бот-

---

**[1] Примечания: 1**

*Льнотреста* - льняная солома, полученная пропариванием.

вой копались деревенские тетки — выбирали картофель. Природа полнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот; когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме и до следующей весны — прощай, многотрудное и многозаботное поле.

Но меня эта умиротворяющая благость природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суета ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной,

обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботою о других — близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.

Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.

И, кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти. И еще — что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слыхал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вести-

бюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось — думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.

— Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.

Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо — усталое, оно было, однако, удивительно спокойным и ясным.

— Печать — великая сила, — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.

Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце. Но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, — в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.

И вот опоздал.

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось, наконец, и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк — школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня — я подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда, на эти пе-

чальные похороны, надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам толя подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину.

Ну вот и приехал. Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, не раз виденная из окна автобуса эта развилка встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки, за ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из широкостволых, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то «газик» и черная, видимо райкомовская «Волга», но людей там не было видно. «Наверно, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладби-

ще, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти.

Так, не очень решительно, я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет пять назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещичий дом, да и эта аллея не показались мне такими подчеркнуто молчаливыми: школьный двор тогда полнился голосами детей — как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая погребальная тишина — даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое, поредевшая желтеющая листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор — впереди высился некогда пышный, в два этажа, но уже обветшалый и запущенный, с треснувшей по фасаду стеной старосветский дворец: фигурная балюстрада веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна. Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная, куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный «газик». Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне

человек в измятой зеленой «болонье». Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет пять мы не виделись с ним, да и вообще наше знакомство было шапочным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению.

— Здорово, друг, — приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны. — Тоже, да?

— Тоже, — сдержанно ответил я.

— Они там, в учительском доме, — сразу приняв мой сдержанный тон, тише сказал приехавший. — А ну давай пособи.

Ухватившись за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок «Московской», за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минуя школу, пошли по тропке меж садовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей.

— Как же это случилось? — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой смертью.

— А так! Как все случается. Трах, бах — готово. Был человек — и нет.

— Хоть болел перед этим или как?

— Болел! Он всю жизнь болел. Но работал. И доработался до ручки. Пойдем вот да выпьем, пока есть такая возможность.

В старом, довольно обветшалом, с облупившейся штукатуркой флигеле за поредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела осыпанная гроздьями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты, между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Они скупо переговаривались о чем-то, потом умолкали, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними.

В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка два сидевших за ними людей были заняты разговорами, сигаретный дым витыми космами тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они

не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не браться же за шапку, коль уж приехал.

— Садитесь, вот и местечко есть, — скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел: наверное, такое появление тут было делом обычным.

Я послушно сел на низковатую за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное немолодое, мокрое от пота лицо.

— Опоздал? — просто сказал человек. — Ну что ж... Нет больше нашего Павлика. И уже не будет. Выпьем, товарищ.

Он сунул мне в руки явно недопитый кем-то, со следами чужих пальцев стакан водки, сам взял со стола другой.

— Давай, брат. Земля ему пухом.

— Что ж, пусть будет пухом.

Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца, сосед непослушными пальцами принялся вылущивать из помятой пачки «Примы», наверно, последнюю там сигарету. В

это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок «Московской», и мужские руки стали разливать ее по стаканам.

— Тише! Товарищи, прошу тише! — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. — Тут хотят сказать. Слово имеет...

— Ксендзов, заведующий районо, — густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед. — Что он может сказать? Что он знает?

В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой.

— Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель. Активный общественник. И вообще... Одним словом, жить бы ему да жить...

— Жил бы, если бы не война, — вставил быстрый женский голос, должно быть учительницы, сидевшей рядом с Ксендзовым.

Заврайоно запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему, он с натугой подбирал слова — может, не было у него нужных на такой

случай слов.

— Да, если б не война, — наконец согласился оратор. — Если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя двадцать лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство, и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования и особенно больших успехов в области...

— При чем тут успехи! — вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатилась между тарелок. — При чем тут успехи? Мы похоронили человека!

Заврайоно недобро умолк на полуслове, а все сидевшие за столом настороженно, почти с испугом начали озираться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом, большой, перевитый набрякшими венами кулак угрожающе лежал на скатерти. Заведующий районо многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику:

— Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно.

— Тише, тише. Ну что вы! — озабоченно склонилась к моему соседу сидевшая рядом с ним женщина.

Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо, он медленно поднимался из-за стола, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело.

— Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему вы не вспомните про Мороза?

Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я тут был человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться, кого-то успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему районо, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке.

— Мороз тут ни при чем, — со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. — Мы не Мороза хороним.

— Очень даже при чем! — почти крикнул сосед. — Это Мороза надо благодарить за Миклашевича! Он из него человека сделал!

— Миклашевич — другое дело, — согласился заврайоно и поднял до половины налитый стакан. — Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером.

За столом началось обычное после тоста оживление, все выпили. Один только помрачневший Ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула.

— Мне с него пример брать поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать, — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил.

Заведующий районо старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда Ткачук повернулся ко мне.

— Скажи ты про Мороза. Пусть знают...

— Про какого Мороза? — не понял я.

— Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим пьем в Сельце, и никто не вспомнит Мороза! Которого здесь должен знать каждый. Что вы так на меня смотрите? — совсем уже разозлился он, поймав на себе чей-то укоризненный взгляд. — Я знаю, что говорю. Мороз — вот кто пример для всех нас. Как для Миклашевича был.

За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие. После минутного замешательства все тот же заведующий районо произнес с завидной начальственной твердостью в голосе:

— Прежде чем говорить, следует подумать,

товарищ Ткачук.

— Я думаю, что говорю.

— Вот именно.

— Ну хватит! Тимофей Титович! Хватит вам, — с настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка. — Лучше съешьте колбаски. Это домашняя. В городе небось такой нет. А то вы совсем не закусываете...

Но Ткачук, видно, не хотел закусывать и, выдавив желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял недопитый стакан с водкой и залпом выпил его до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие его глаза страдальчески упрятались под бровями.

За столами стало тише, все молча закусывали, некоторые курили. Я повернулся к соседу справа — молодому парню в зеленом свитере, с виду учителю или какому-то специалисту из колхоза, — и кивнул в сторону Ткачука:

— Не знаете, кто это?

— Тимофей Титович. Бывший здешний учитель.

— А теперь?

— Теперь на пенсии. В городе живет.

Я внимательно присмотрелся к моему соседу. Нет, в городе я, кажется, его не встречал, может,

он недавно переехал откуда-то. На вид он уже стал безразличен ко всему тут и отчужденно примолк, уставясь на клетчатый край скатерти.

— Из города? — вдруг спросил он, вероятно, заметив мой к нему интерес.

— Из города.

— Чем приехал?

— Попутной.

— Своей не имеешь?

— Пока нет.

— Ну пейте, поминайте, я поехал.

— А вы чем поедете?

— Чем-нибудь. Не первый раз.

— Тогда и я с вами, — вдруг решил я. Оставаться тут, кажется, не имело смысла.

Сейчас мне трудно объяснить, почему я пошел за этим человеком, почему, с трудом добравшись до Сельца, так скоро и охотно расставался с усадьбой и школой. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете, а люди за этими столами меня занимали мало. Но и мой новый попутчик в то время совсем не казался мне ни интересным, ни чем-нибудь привлекательным. Скорее напротив. Я видел возле себя изрядно подвыпившего, привередливого пенсионера; от его слов о своем

превосходстве над покойным несло обычной стариковской похвальбой, всегда не слишком приятной. Даже если он и говорил правду.

Тем не менее с неясным еще чувством облегчения я встал из-за стола и вышел из комнаты. Ткачук был грузноватым, кряжистым человеком, в ботинках и сером поношенном костюме с двумя орденскими планками на груди. Похоже, что он крепко выпил, хотя в этом не было ничего удивительного — пережил на похоронах, немного понервничал в споре, причина которого так и осталась для меня непонятной. Но, видно по всему, он не на шутку разозлился и теперь шел впереди по тропинке, подчеркивая свое нерасположение к какому бы то ни было общению.

Так мы молча миновали усадьбу и прошли в аллею. Не доходя до шоссе, пропустили на нем грузовик, кажется, порожний и шедший в направлении города. Можно было бы крикнуть и немного пробежать, но мой спутник не прибавил шагу, и я тоже не проявил особого беспокойства. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было, шоссе в обе стороны лежало пустое, до блеска наглянцованное за день.

Мы дошли до развилки и остановились. Ткачук поглядел в одну сторону дороги, в другую и

сел где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канаву. Разговаривать со мной он не хотел, это было очевидным, и, чтобы не докучать ему, я отошел в сторонку, не упуская из виду дорогу. Из-за лесного поворота показалась легковушка, частный «Москвич» с горбатым, навьюченным багажом верхом, — обдав нас бензинным запахом, он покатил дальше. В той же стороне шоссе, которая теперь больше всего интересовала нас, было совершенно пусто. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили глаза, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла — машин там не было. Теряя интерес к дороге, я по-над канавой прошел к памятнику.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать, бедно, теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости не было в нем и следа заброшенности или небрежения: сколько я помню, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с

небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск за каких-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был то белоснежный, беленный перед праздниками известкой, то зеленый, под цвет солдатского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я видел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику.

Обелиск часто менял свой вид, неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — Мороз А.И., которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской.

На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал, он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на

асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу.

— Черт их дождется! Давай потопаем. Нагонит какая, так сядем.

Что ж, я согласился, тем более что погода под вечер стала еще лучше: было тепло и безветренно, ни один листочек на вязах не шелохнулся, а глянцевитая лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно не испытанным наслаждением пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад.

— Давно вы знали Миклашевича? — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать.

— Знал? Всю жизнь. На моих глазах вырос.

— А я совсем его мало знал, — признался я. — Так, встречались несколько раз. Слышал: неплохой был учитель, детей хорошо учил...

— Учил! Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили.

— Да, теперь это редкость.

— Теперь редкость, а прежде часто бывало. И он тоже в табуне за Морозом ходил. Когда пацаном был.

— Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал.

— Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал. А он в октябре эту школу открыл. На четыре класса всего.

— Погиб?

— Да, погиб, — сказал Ткачук, неторопливо, вразвалку шагая рядом.

Пиджак его был расстегнут, узел галстука небрежно сполз набок, под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи.

— Мороз был нашей болячкой. На совести у обоих. У меня и у него. Ну да я что... Я сдался. А он нет. И вот — победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал.

Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так отрывисто и скупо, что многое оставалось неясным. Наверно, надо было бы расспросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы.

— Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И порой дорогой ценой.

— Да, уж куда дороже... Главное, прекрасная была преемственность... Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов... Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была. Просто на диво! Бывало, смотрю и не могу нарадоваться: ну словно он брат Морозу Алесю Ивановичу. Всем: и характером, и добротой, и принципиальностью. А теперь... Хотя не может быть, что-то там от него останется. Не может не остаться. Такое не пропадает. Прорастает. Через год, пять, десять, а что-то проклюнется. Увидишь.

— Это возможно.

— Не возможно, а точно. Не может быть, чтобы работа этих людей пропала зазря. Тем более после таких смертей. Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый документ. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут крови пролилось ого сколько! Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь...

— Не знаю, — честно признался я. — Когда-то Миклашевич собирался рассказать...

— Знаю. Он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот... не успел.

Слова эти отозвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто знал! Кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом.

— Ты же из редакции? — искоса глянул на меня Ткачук. — Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду-матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому делу — вступиться за Мороза. Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое...

— Интересно, — сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк. — Знал бы я раньше...

— Теперь уже все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Только вот сам... У тебя закурить найдется? — спросил он, похлопывая себя по пустым карманам.

Я дал ему сигарету, мы оба закурили, посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем

«Волгу», которая шустро проскочила мимо. Наверно, «Волга» шла в город, но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее — я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ, а он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину.

— Может, взяла бы? А, шут с ней. Пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет? Сорок, говоришь? Ну, молодой еще век, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Если, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать чтоб плохое, иной раз еще и чарку могу взять. Но уже не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так и автобусов никаких не было. Надо в город — берешь палку и айда. Двадцать километров за три с половиной часа — и в городе. Теперь, наверно, больше потребуется, давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот — нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или особенно про войну. Как увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, и, знаешь, что-то сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилой пилит.

— Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.

— Нет, мои уже не вылечат. Шестьдесят два года, что ты хочешь! Жизнь вдрызг истрепала, веревки вила из моих нервов. А ученые говорят — нервные клетки не восстанавливаются... Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В тридцать девятом после воссоединения Наркомат просвещения направил в Западную[2] организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом Сельце после войны семь лет отгрохал...

— Время идет.

— Не идет, а мчится. Когда-то все думал: ну год-два поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться хотел. Я ведь до войны только учительский двухгодичный окончил. Ну а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло, и вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира, а теперь вот когда можно катиться на все стороны, никуда уже не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с Морозом.

---

**[2] Примечания: 2**
Здесь: в Западную Белоруссию.

Разве что с некоторым опозданием.

Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала в выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки, и даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светилось прощальным отсветом зашедшего солнца.

— Сегодня какое число? Четырнадцатое? Как раз в эту пору первый раз приехал в Сельцо. Теперь уже привычное дело все эти стежки-дорожки, а тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной, дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрусь в сентябре дал драпака, бросил все, подался, говорили, к румынам, и тут Мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились два раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прямо-таки гиганты вроде американских секвой[3]. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множестве. У каждого пана, считай.

---

**[3] Примечания: 3**

*Секвойя* - североамериканское хвойное дерево, достигающее 100 метров в высоту и живущее до 2000-2500 лет.

В тот первый год я работал в районе заведующим. Школы почти все новые, маленькие, то в осадницких[4], а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайности. В этом Сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина, жила тут и при Габрусе в том самом флигеле. Тонкая была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала, зато что касается остального — ого! Воспитания была самого тонкого.

И вот как-то под вечер сижу я в своем закутке в районо, зарылся в бумаги — отчеты, планы, ведомости: ездил по району, неделю не был на месте, все запустил — жуть! Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь, — заходит эта самая пани Ядя. Маленькая такая, щупленькая, но с лисой на шее и в шикарной заграничной шляпке. «Прошу извинить, пан шеф, я, прошу пана, по

---

**[4] Примечания: 4**

*Осадники (польск. osadnicy, ед. ч. osadnik — поселенец)* — польские колонисты-переселенцы, вышедшие в отставку военнослужащие Войска Польского, члены их семей, а также гражданские переселенцы-граждане Речи Посполитой, получившие после окончания советско-польской войны и позднее земельные наделы на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии с целью активного ополячивания территорий, отошедших Польше по Рижскому мирному договору 1921 года.

педагогическому вопросу». — «Что же, садитесь, пожалуйста, слушаю».

Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь по-польски — едва разбираю. Все манеры изысканно воспитанной паненки, а самой лет за пятьдесят, такое сморщенное, хитренькое личико. Что же оказывается? Оказывается, имеет конфликт со своим шефом в Сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплины, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и самое главное — говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки.

Ну насчет костела я, естественно, не слишком обеспокоился, подумал: правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины, игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею, в Сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что у него там за порядки.

Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все же недели через две как-то вырвался, взял

у хозяина, у которого квартировал, его велосипед, ровар по-здешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то что нынче — булыжник. Ехать по нему на подводе или на роваре — все равно кишки вытрясешь. Но поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в ту самую аллейку под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал — занятия уже закончились. Еще издали вижу — на дворе полно детворы, думаю, игра какая, но нет, не игра, — оказывается, идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районе никакого — где взять, откуда привезти? А эти, вишь, сообразили и не ждут, когда там в районо надумают обеспечить их топливом, — сами о себе заботятся.

Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них: где же заведующий? «Я заведующий», — говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем — пилил его с парнишкой, должно быть переростком, ладным таким мальцом лет пятнадцати. Ну бросает пилу, подходит. И сразу замечаю: хромает.

Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не разгибается, поэтому он здорово на нее припадает и кажется как бы ниже ростом. А так ничего парень — плечистый, лицо открытое, взгляд смелый, уверенный. Наверно, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется: Мороз Алесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь: силен. Ладонь шершавая, твердая, должно быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит там же и пробует водить пилой. Но пила ни с места — попала на сук, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить зарез[5], но и вдвоем, гляжу, не очень управятся — пилу чем дальше, тем сильней зажимает в распиле. Понятное дело: надо что-нибудь подложить. Чтобы подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель, да в одиночку разве поднимешь. Тут ребятишки, кто постарше, тоже облепили бревно, а оно ни с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровар и тоже за тот комель взялся. Силились, силились, кажется, приподняли, еще бы на сантиметр — и можно палку подсунуть,

**[5] Примечания: 5**
*Зарез* - надрез пилой в дереве, доске и т.п.

да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровар, меня возле комля, да так и остолбенела.

Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла, все поминала матку боску[6] и недоумевала: что за учителя у Советов, имеют ли они хоть малейшее понятие о педагогическом такте и авторитете старших? Не беда, говорю, пани Ядя, авторитета от того не убавится, а дрова в школе будут. В тепле работать будете. Но это потом. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду, и я уже почти забыл, зачем приехал, скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с Морозом, потом кололи. Попотел вволю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и Мороз отпустил всех по домам.

Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе, спал на роскошной, в стиле барокко, панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеяла, конечно, не было. На ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем как лечь, поели бульбочки, мать

---

**[6] Примечания: 6**
*Matka Boska (польск.)* - Богородица.

одного ученика ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и крынку простокваши. Ужинали и знакомились. Хотя, пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины, уже пять лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства, долго болела да так и осталась. Я осторожненько завел речь о наших обычных делах: программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то и прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав.

Да, он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не закостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке приставлен специалист-предметник, и каждый добивается наилучших знаний по своей специальности. И потому, скажем, математичке какой-либо бином Ньютона в

сто раз дороже всей поэзии Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять деепричастные обороты — мерило всех достоинств школьника. За эти свои запятые он готов ребенка на второй год оставить и в институт не дать ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может, — и наверняка — никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще, можно ли быть человеком?

Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко многому прочему, приобвыкли, утратили свежесть восприятия. А тогда все выглядело внове, значительнее, и Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хоть я и был старше его лет на пять, членом партии и заведовал всем районо. И он мне сказал той ночью, когда мы лежали рядом — я на его кушетке, а он на столе, — примерно следующее: «С программами в школе действительно не все в порядке, успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе, многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой, их начальные знания не соответствуют нашим программам. Но вовсе

не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они люди, не быдло[7], не какие-то там вахлаки[8], какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане. Как все. И они, и их учителя, и их родители, и все руководители в районе — все равные в своей стране, ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общечеловеческой культуры». В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее — добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано, часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками.

Наверно, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для на-

---

**[7] Примечания: 7**

*Быдло (букв. - рабочий рогатый скот)* - люди, выполняющие тяжёлую работу и занимающие низкое социальное положение и покорные насилию.

**[8] Примечания: 8**

*Вахлак (бран.)* - нерасторопный, глупый, малокультурный, серый человек.

рода на протяжении его истории. Духовенство — это известно, здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль попа, ксендза[9] на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах, что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, до и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет, — скажет: врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так бывает, до космонавта включительно. А прежде? Если рос, бывало, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые? Вырастет — учителем будет. И это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко. Или заработок хороший — не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце — преждевременная могила от чахотки... И тем не менее,

**[9] Примечания: 9**

*Ксендз* - польское наименование священнослужителя в католической церкви.

скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю.

И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей многое, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало.

Помню, как-то поехал в Сельцо инспектор из области — через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная, на трех лапах, а вторая — злая такая, маленькая и вертлявая (полицаи потом в войну их постреляли). Да. Ну, пока инспектор опомнился, собаки и располосовали ему штанину, Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Ядя зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих не слишком, наверно, свежих подштанниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так. Не сельские,

не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину, родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую «Муму», и вот Алесь Иванович решил: поселить щенков в школе и по очереди их досматривать. Так в Сельце завелись школьные собаки.

А потом появился школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи, поймали его на лугу, мокрого доходягу, и Мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку — больше для того, чтобы не съел кот. Ну, конечно, был там и кот, жалкое такое создание слепое, ничего не видит, а только мяукает — есть просит.

Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали. Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках, вечерней дымкой покрылись поля, а лес вдали казался тусклой глухой полосой.

Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города, нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни од-

на машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издалека заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар.

— Идет какая-то.

Ткачук замолчал, остановился и вгляделся тоже; его хмурый массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба.

— Автобус, — сказал он с уверенностью.

Должно быть, мой спутник был дальнозорким, я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой серый автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка; ярче засверкали колючие огоньки его фар и даже стал виден тусклый отсвет салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров триста, и мы, вдруг обнадеженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места. Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы на минуту задержать автобус.

Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть водитель, оставив открытой дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы, казалось — добегу, но тут резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места.

Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой: дескать, стой же, возьми! Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему чуть ли не под самые колеса. Но на ходу открылась дверца кабины, и сквозь взметенную автобусом пыль донесся голос водителя:

— Нету, нету остановки. Чеши дальше...

Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного «Икаруса», на взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука.

— Чтоб ты провалился, гад! — вырвалось у меня: надо же так обмануть.

Было обидно, хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье — действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая

нужда междугородному скоростному экспрессу подбирать разных ночных бродяг — для этого есть автобусы местных линий.

И все-таки вид у меня был, наверно, довольно убитый, когда я добрел до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил:

— Не взял? И не возьмет. Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя — контроль, ну и жмет. Назло себе и другим.

— Говорит, остановки нет.

— Но ведь останавливался. Мог бы... Да что там. Я уже в таких случаях предпочитаю помалкивать: себе дешевле обойдется.

Может, он и был прав: не надо было надеяться — не было бы и разочарования. Значит, придется помаленьку топать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее.

— Да, так, значит, про Мороза, — начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу. — Второй раз наведался я в Сельцо зимой. Холода стояли лютые, помнишь же, наверно, зиму сорокового — сорок первого года: сады вымерзли. Мне-то еще повезло, подъехал с каким-то дядькой в санях, ноги зарыл в сено, и то замерзли, думал, отморо-

зил совсем. До школы едва добежал, было поздно, вечер, но в окошке горит свет, постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть, уж не завел ли тут мой Алесь Иванович какие-нибудь шуры-муры? «Открой, — говорю. — Это я, Ткачук, из района». Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мной парнишка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего, — говорит. — Чистописание пишу». — «А почему домой не идешь? Или, может, Алесь Иванович после уроков оставил?» Молчит. «А где сам учитель?» — «Повел Ленку Удодову с Ольгой». — «Куда повел?» — «Домой». Ничего, не понимаю: какая нужда учителю учеников по домам разводить? «А что, он всех домой провожает?» — спрашиваю, а сам уже злюсь за такую встречу. «Нет, — говорит, — не всех. А этих потому, что маленькие, а через лес идти надо».

Ну, что ж, думаю, ладно. Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Но вот минул час, а Мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. Говорит: «Версты три будет». Ладно, что ж делать, сидим ждем. Парнишка в тетрадке пишет. «А тебя он, наверное, оставил печку топить? — спрашиваю. — Ты где

живешь?» — «Тут и живу, — отвечает. — Меня Алесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Э, вот оно, оказывается, в чем дело. Как бы оно не обернулось новыми неприятностями. И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось.

Часа через три возвращается Мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно, только парнишка тот, Павлик... Да, да, ты угадал. Именно Павлик, Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич... Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается Мороз, весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему задержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность: что-то случилось с коровой, не могла растелиться, вот и задержался учитель, помогал матери. А девчушки? Ну это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы: дескать, обувка плохая и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным, но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились, и Мороз понимал, что это означало для матери-вдовы (отец в тридцать

девятом погиб под Гдыней). И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок — стали учиться. Только когда прибыло ночи, забоялись одни ходить через лес, надо было проводить кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду. А в тот день Бородич почему-то не пришел в школу, дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатые.

Рассказал это он, я молчу. Черт знает, что ему сказать, педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты попутались. Мороз вообще был мастер путать постулаты, и я уже стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе, дома, мол, нелады. Ну что ж, думаю, пусть. Тем более такие холода стоят.

И вот спустя каких-нибудь две недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть, не любил я этих законников, от них всегда жди неприятностей. Прихожу, а там сидит незнакомый дядька в кожухе[10], и прокурор района товарищ Сивак строго так наказывает мне ехать

---

**[10] Примечания: 10**

*Кожух* - верхняя одежда из кожи; овчинный тулуп.

в Сельцо и забрать у гражданина Мороза сына вот этого гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом: закон! Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицейский возок и с участковым да с Миклашевичем покатили в Сельцо.

Приехали, помню, к концу занятий, вызвали Мороза, стали объяснять в чем дело: постановление прокурора, на стороне гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот как увидел отца — съежился, будто зверек, близко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз и говорит Павлику: так, мол, и так, поедешь домой, так надо. А тот ни с места. «Не пойду, — говорит. — Я у вас хочу жить». Ну, Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой (мать недавно умерла, отец женился на другой, ну и пошли нелады с мальчишкой — известное дело). Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу.

И вот картина! Как сейчас все перед глазами, хоть минуло уже... Сколько же это? Должно быть, лет тридцать. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич-старший в длинном красном кожухе ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас смотрит, милиционер молчит. Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уже отошли по аллейке и тут, видим, останавливаются, отец тормошит сына за руку, тот начинает вырываться, да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич снимает одной рукой с кожуха ремень и начинает бить сына. Не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит, некоторые поворачиваются в нашу сторону с упреком в глазах, чего-то ждут от своего учителя. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромая, через двор — туда. «Стойте, — кричит, — прекратите избиение!»

Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить, сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской и говорит прерывающимся от волнения голосом: «Вы у меня его не получите! Понятно?» Миклашевич, разъяренный, — к учителю, но и Мороз, не глядя, что калека, тоже грудью вперед и готов

в драку. Но тут уже мы подоспели, разняли, не дали подраться.

Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозится, я молчу. Милиционер ждет — он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы втроем остались — что делать? Тем более что Мороз сразу же объявил с присущей ему категоричностью: такому отцу парня не отдам.

Вернулись с милиционером в район ни с чем, наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию, а отец тем временем подал в суд. Да, было хлопот и неприятностей и ему и мне — хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился: комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого соломонова решения Мороз не спешил и, наверное, правильно делал.

Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что как я уже говорил, школы создавались заново, почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу — и, уж конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек. А читали здорово, читали все:

школьники, учителя, молодежь. Книги добывали где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, наседал на меня чаще всего с одной просьбой: дайте книг. Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, немного. К тому же, признаться, думал: школа маленькая, зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам.

Километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет, но когда-то неподалеку от него была панская усадьба — в войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан, после него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел — казалось, ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы.

И знаешь, ему повезло. Где-то на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего — разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира божьего», «Огонька» — оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне об этом ничего не сказал, а в

первый же выходной взял в Сельце фурманку[11], ученика того, переростка — и в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду, снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце, уже в потемках, провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких. Мне сказал об этом приезжий дядька из Сельца, и вот я ломаю голову: как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани Ядя, помнится, тогда уже не работала, выехала куда-то, замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет — мотаюсь по району: открываем школы, организуем колхозы. И все же как-то проездом завернул в ту аллейку. Дай, думаю, проведаю Мороза, как он там, жив ли?

Захожу в коридор — на вешалке полно одежды, ну, думаю, слава богу, значит, поправился, наверно, идут занятия. Открываю дверь в класс: стоит штук шесть парт — и пусто. Что, думаю, за лихо, где же дети? Прислушался: как будто

---

**[11] Примечания: 11**

*Фурманка* - небольшая фура, фургон; малая извозчичья бричка.

разговор где-то, тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался: совсем чудно — слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь: «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче... И страдания этого я не знал также... Да, я ничего этого не знал до сих пор. Но где я?..»

Мне тоже почудилось: где я? Такого я не слышал уже лет десять, а когда-то, студентом, этот отрывок сам декламировал на литературном вечере.

Тихонько открываю дверь — в Морозовой боковушке полно детей, расселись кто где: на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. Сам Мороз лежит на своей кушетке укрытый кожушком и читает. Читает Толстого. И такая тишина и внимание, что муха пролетит — услышишь. На меня никто не оглянулся — не замечают. И я стою, не знаю, что делать. Первое побуждение: просто закрыть дверь и уехать.

Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий районо и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо — читать Толстого, но, наверно, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь? А то зачем же ученикам брести за столько километров в это Сельцо?

Примерно так я и сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили.

В ту весну Мороз изучал усиленно Толстого, сам перечитал всего, много прочитал ребятам. То была наука! Это теперь любой студент или старшеклассник, только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском, перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться, а вот их недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненный под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилием с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения — он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочиста, душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Отвеется, как на ветру зерно от половы[12]. Теперь

**[12] Примечания: 12**

*Полова* - отходы при обмолоте и очистке зерна хлебных злаков и некоторых других культур; мякина.

я это понял отлично, а тогда что ж... Был молод, да еще начальник.

Обычно в мальчишеской компании находится кто-то постарше или пособразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в Сельце, как мне потом говорил Миклашевич, таким заводилой стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая, после Мороза. И это правильно. Во всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку...

Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой, приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова — всегда он поглядывает исподлобья и молчит, словно сердится за что-то. Было ему в ту пору шестнадцать лет. При панах, понятно, не очень учился, у Мороза ходил в четвертый класс. Да, еще один факт: в сороковом закончил четвертый, надо было подаваться в НСШ[13] за шесть километров, в Будиловичи. Так

---

**[13] Примечания: 13**
*НСШ* - неполная средняя школа.

он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить второй год в четвертый. Лишь бы в Сельце.

Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, «Павлинку»[14], какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера, всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Скрылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из сельцовской школы. Как выяснилось потом, довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом повинен. Кстати, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что.

Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор Сивак, говорит: зайди в прокуратуру. Я уже говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься — надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру

---

**[14] Примечания: 14**

*«Павлинка»* - пьеса Янки Купалы, комедия в двух актах, написанная в 1912 году, в которой решается мотив разоблачения шляхетской гоноровости и ограниченности. Действие разворачивается вокруг дочери Степана Криницкого — Павлинки, деревенского учителя Якима Сороки и шляхтича Адольфа Быковского. Павлинка и Яким — представители молодого поколения — олицетворяют его лучшие черты, его стремления к новому образу жизни[

поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь или как там у них, католиков, называется эта штуковина. Что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя, им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксендз и группа прихожан ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно и его учителя.

Что тут делать — опять разбираться? Через неделю в Сельцо выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отпирается: да, хотел отомстить ксендзу. Но за кого и за что — не говорит. Ему втолковывают: не признаешься честно — засудят, не посмотрят, что малолеток. «Ну и пусть, — говорит, — засудят».

И что же ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя, доложил начальству, будто все это результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в центр — и парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в Сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза как на какого-то своего заступника. Что у кого было трудного или хлопотного, со всем

шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял или давал советы, но еще и самому забот невпроворот было. Каждую свободную минуту — то в район, то в Гродно. Вот по этой самой дороге — на фурманках или попутных, не частых тогда, машинах, а то и пешком. И это хромой человек с палочкой! И не за деньги, не по обязанности — просто так. По призванию сельского учителя.

По-видимому, мы протопали по шоссе час, если не больше. Стемнело, земля целиком погрузилась во мрак, туман затянул низины. Хвойный лес невдалеке от дороги зачернел неровным зубчатым гребнем на светловатом закрайке неба, в котором одна за другой зажигались звезды. Было тихо, не холодно, скорее свежо и очень привольно на опустевшей осенней земле. В воздухе тянуло ароматом свежей пашни, от дороги пахло асфальтом и пылью.

Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи, неба, где над сонной землей начиналась своя, необъяснимая и недосягаемая ночная жизнь звезд. Крупно и ярко горело в стороне от дороги созвездие Большой Медведицы, над нею мигал ковшик Малой

с Полярной в хвосте, а впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выспренни и неестественны в своей высокопарной красивости древние мифы, хотя бы вот и об этом красавце Орионе, возлюбленном богини Эос, которого из ревности убила Артемида, как будто не было в их мифической жизни других, более страшных бед и более важных забот. Тем не менее эта красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем самые захватывающие факты его истории. Может, даже и в наше время многие согласились бы на такую легендарную смерть и особенно последующее за ней космическое бессмертие в виде этого туманного созвездия на краю звездного ночного неба. К сожалению или к счастью, но это не дано никому. Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце и о которой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук.

— И тут — война.

Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о

ней, а обрушилась она нежданно-негаданно, как гром среди ясного дня. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. Которые местные, здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам: как-никак при жизни одного поколения — третья смена власти. Привыкли, словно так и должно быть. А мы — восточники. Это было такое несчастье — разве думали мы тогда, что на третий день окажемся под немцем. Помню, пришел приказ: организовывать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил шесть школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полуторку свои пожитки и покатили на Минск, шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил: не может быть. Если немцы, так должны же где-то отступать наши. А то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел и вдруг — немцы. Но те, что говорили так, не обманывали — под вечер в местечко и впрямь вкатило штук шесть вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев.

Я да еще трое хлопцев — два учителя и инструктор райкома — огородами прошмыгнули в

жито[15], через него в лес и подались на восток. Три дня шли — без дорог, через принеманские болота, несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали: каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт — черт его знает, не догонишь, наверно. Поговаривают, что уже и Минск под немцем. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Оставаться — а где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе хоть люди знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всякими.

И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой иной раз сидели, казалось, все добрые, хорошие, честные. А на деле обернулось совсем иначе. Приволоклись мы в Старый Двор — хутор такой близ леса, в стороне от дорог, немцев там будто еще и не было. Ну, думаю, самое подходящее место пересидеть здесь каких пару недель, пока наши погонят немцев. На большее тогда не рассчитывали — что ты! Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его

---

**[15] Примечания: 15**

*Жито* - всякий хлеб в зерне или на корню.

провокатором или паникером посчитали бы. Крупеня тем временем уже доходит, идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в Старом Дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек Усолец Василь. Как-то ночевал у него после собрания, поговорили от души, понравился человек: умный, хозяйственный. И жена — моложавая такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим. Грибками солеными угощала. В хате цветов полно — все подоконники ими заставлены. Вот мы поздно ночью и заявились к этому Усольцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что, думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. «Кончилась тут, — говорит, — ваша власть!» И так грохнул дверью, что аж с подстрешья посыпалось.

Приютила нас простая, никому не знакомая тетка — трое малых детей, старший глухонемой, муж в армии. Как прослышала, что раненый (мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли), как узнала, кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пуньке[16]. И все, помню, охала: может, и мой,

**[16] Примечания: 16**
*Пунька* - сарай для хранения мякины, сена и т.п.

бедненький, где так мучается! Значит, любила своего бедненького, а это, брат, всегда что-то да значит. Ну, а Крупеня через неделю помер, не помог и куриный бульончик; пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что же дальше? Посидели еще неделю у тетки Ядвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась — сколько об этом книг написано да фильмов поставлено — было на что надеяться.

И знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек тридцать бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев, из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в семь этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно: никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и подкрепиться. А про затвор он уже и забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего, при-

вык к этому его кавалерийскому норову. В сорок втором под Дятловом шел первым по тропке, за ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же — какой-то паршивый полицай с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В скольких страшных боях участвовал, и ничего. А тут за всю ночь одна пуля — и в командира.

Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел, на рожон не лез, как некоторые. Заядлый на словах больше, а так — умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах — урочище[17] так называется за Ефимовским кордоном. Потом уже, в сорок третьем, там обосновалась Кировская бригада, мы перебрались в пущу[18]. А поначалу мы эти ямы обживали. Отличное, скажу тебе, место: болото, бугры, ямы да увалы — сам черт ногу сломает. Ну погрелись мы малость в землянках, попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто или майор сам понял, что война не на несколько

---

**[17] Примечания: 17**

*Урочище* - участок, отличающийся от окружающей местности (лес среди поля; болото, луг среди леса и т.п.).

**[18] Примечания: 18**

*Пуща* - большой и густой труднопроходимый лес

месяцев, может, побольше протянется и что без местных ему не обойтись. Поэтому-то и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых: начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на Октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником особого отдела поставили. Но это потом уже, как Селезнева не стало. А в то время решили, что, пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомства с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодицам пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уже человек двенадцать набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риску, конечно, тут было побольше, чем в другом месте — все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу узнаешь — обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железнодорожной шинели, я

в армяке[19] и сапогах. У обоих торбы за спинами. Как нищие какие.

Поначалу решили зайти в Сельцо.

Не на усадьбу, конечно, а в село — ты, может, знаешь, что через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист, вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах — ту самую, что после войны завмаг из Рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала, года три хата стояла пустая, вот завмаг и откупил. А в войну в ней жили три девки при матери, невестка — сынова женка (сын в польско-германскую войну пропал, потом аж у Андерса[20] объявился). Вот, пока мы портянки сушили, девки нам все и рассказали. И про новости в Сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам, а то бы не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой по-

**[19] Примечания: 19**

*Армяк* - верхняя долгополая распашная одежда халат из грубой шерстяной ткани или домашнего сукна.

**[20] Примечания: 20**

*Андерс Владислав* (1892-1970) — дивизионный генерал польской армии, польский военный и политический деятель, командовал отдельными польскими формированиями во время Второй мировой войны , главнокомандующий польскими силами на Западе (1945 г.).

вязкой на рукаве — стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости, а я, признаться, порадовался; было бы, наверно, хуже, если бы сразу сунулись полицаю в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивиться и озадачиться — это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». — «Как работает?» — «Детей, — говорит, — учит». Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе — там теперь полицейский участок, — а в одной хате в Сельце.

Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать — не наш человек. Я молчу. Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз — немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один — полицай, другой — немецкий прихвостень, ничего себе кадры подготовили в районе за два предвоенных года.

И знаешь, думал я, думал и надумал сходить все-таки ночью к Морозу. Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву. Винтовки не было, а граната имелась в кармане.

Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай.

Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался. Характер уж такой с детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.

Девчата рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колодца, со двора крыльцо. Живет у бабки-бобылки[21]. Через улицу в другой хате теперь его школа.

Стемнело — пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина собачья. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье[22], за кустиками. Ждать будет час, не приду — значит, дело плохо, что-то стряслось. Все же, думаю, за час управлюсь. Уж я

---

**[21] Примечания: 21**

*Бобыль (жен. - бобылка)* - крестьянин, не имеющий ни семьи, ни хозяйства.

**[22] Примечания: 22**

*Загуменье* - место, находящееся за гумном. Гумно - площадка для молотьбы, ток, а также помещение, сарай для сжатого хлеба.

разгадаю душу этого Мороза.

Прокурор остался за пунькой, а я вдоль межи — к хате. Темно. Тихо. Только дождь усиливается и шуршит в соломе на стрехах. За изгородью на ощупь добрел до калитки во двор, а она проволокой закручена. Я и так и этак — ничего не получается. Надо перелезать через изгородь, а изгородь высоковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом да как поскользнусь — грудью об жердь, та хрясть пополам, а я носом в грязь. И тут — собака. Так зашлась в лае, что я лежу в грязи, боюсь пошевелиться и не знаю, что лучше: удирать или звать на помощь.

И вот, слышу, кто-то выходит на крыльцо, скрипнул дверьми, прислушивается. Потом спрашивает вполголоса: «Кто тут?» И собаке: «Гулька, пошла! Пошла! Гулька!» Ну, ясно, это же школьная собачонка, трехлапая, что когда-то инспектора укусила. А человек на крыльце — Мороз, голос знакомый. Но как отозваться? Лежу и молчу. А собака опять в лай. Тогда он сходит с крыльца, хромая (слышно по грязи: чу-чвяк, чу-чвяк), топает к забору.

Встаю и говорю напрямик: «Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий». Молчит. И я молчу. Ну что тут делать: назвался, так надо

вылезать. Встаю, перелезаю забор. Мороз тихо так: «Тут левей держите, а то корыто лежит». Успокаивает собаку и ведет меня в хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табуретке — раскрытая книга. Алесь Иванович пододвигает табурет ближе к печке. «Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет». — «Ничего, — говорю, — пальто мое еще высохнет». — «Есть хотите? Картошка найдется». — «Не голодный, ел уже». Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены — к кому попал? А он как ни в чем не бывало, спокоен, будто мы с ним вчера только расстались: никаких вопросов, никакого замешательства. Разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд не такой открытый, как прежде. Вижу, небрит, должно быть, дней пять — русая бородка пробилась.

Сижу мокрый, не снимая армяка, и он наконец присел на лавку. Коптилку поставил на табурет. «Как живем?» — спрашиваю. — «Известно как. Плохо». — «А что такое?» — «Все то же. Война». — «Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он кисло, одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз на коптилку. «Надо учить». — «А по каким программам, интересно? По советским или немецким?»

— «Ах, вот вы о чем!» — говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я исподтишка внимательно так наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне когда-то казалось, что вы умный человек». — «Возможно, и был умным». — «Так не задавайте глупых вопросов».

Сказал как отрезал — и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал, что, наверно, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем! Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца переродился? И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без божбы, что он наш — честный, хороший человек.

Но ведь — школа! И с разрешения немецких властей...

«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Сколько смогу, разумеется».

Вот так он говорит, шаркая по хате, и не смотрит на меня. А я сижу, греюсь и думаю: а что, если

он прав? Немцы ведь тоже не дремлют, свою отраву в миллионах листовок и газет сеют по городам и селам, сам видел, читал кое-что. Так складно пишут, так заманчиво врут, и даже партию свою как назвали: национал-социалистическая рабочая партия. И будто эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов[23] евреев и большевистских комиссаров. А молодежь и есть молодежь. Она, брат, как малышня на дифтерит, заразительна на всякие малопонятные штучки. Люди постарше, те уж понимают такие хитрости, всякого насмотрелись в жизни, мужика-белоруса на мякине не проведешь. А молодые?

«Теперь все хватаются за оружие, — говорит Мороз, расхаживая по хате. — Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому — чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Дума-

**[23] Примечания: 23**

*Плутократ* - представитель наиболее богатой верхушки господствующего класса, обладающий благодаря своему богатству влиянием и властью.

ете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить. Им бы только получить винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить». И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть?

И внезапно, хорошо помню, подумалось, как-то само собой: ну и пусть! Пусть работает. Неважно где — важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть. Иначе для чего же тогда и жить? Разом в омут головой — и конец.

Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для настоящего.

Час, должно быть, уже прошел, я побоялся за прокурора, вышел позвать его. Тот сначала упирался, не хотел идти, но холод донял, побрел следом. Поздоровался с Морозом сдержанно, не сразу включился в разговор. Но исподволь осмелел. Еще поговорили, потом разделись, стали сушиться. Морозова бабка что-то на стол собрала, даже бутылочка «мутной» нашлась.

Так посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. И надо сказать, именно тогда впервые открылось мне, что Мороз этот не нам ровня, умнее нас обоих. Ведь случается так, что все работают вместе, по одним правилам, кажется, и по уму все равны. А когда жизнь разбросает в разные стороны, разведет по своим стежкам-дорожкам и кто-то вдруг неожиданно выдвинется, мы удивляемся: смотри-ка, а был ведь как и все. Кажется, и не умнее других. А как выскочил!

Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали да заботились о самом будничном — подкрепиться, перепрятаться, вооружиться да какого-нибудь немца подстрелить, — он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию как бы изнутри смотрел и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. И знаешь, даже мой прокурор это понял. Когда мы уже вдоволь наговорились, совсем сблизились, я и сказал Морозу: «А может, бросай всю эту шарманку да айда с нами в лес. Партизанить будем». Помню, Мороз насупился, сморщил лоб, а прокурор тогда и говорит: «Нет, не стоит. Да и какой из него, хромого, партизан! Он здесь

нам будет нужнее». И Мороз с ним согласился: «Сейчас, наверно, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот уж когда нельзя будет...»

Ну и я согласился. Действительно, зачем ему в лес? Да еще с такой ногой. Наверно, и нам будет выгодней иметь своего человека в Сельце.

Вот так мы тогда погостили у него и со спокойной душой распрощались. И скажу тебе, этот Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно, — мужики передали. Так его уважали, так с ним считались, что, как и раньше, не к попу или ксендзу, а к нему шли и с плохим и хорошим. И когда отыскался где-то этот приемничек, так первым делом передали его своему учителю, Алесю Ивановичу. И тот потихонечку стал его покручивать в овине. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное — сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. Селезнев, правда, когда дознался, хотел тот приемничек для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек тридцать пять слушало, а так вся округа ими пользова-

лась. Тогда сделали так: Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд — у лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда пацаны их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки, все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго, и только радости, что эта Морозова почта. Особенно когда немцев из-под Москвы шибанули, каждый день бегали к дуплянке... Постой, кажется, едет кто-то...

Из ночной темени сквозь легкие порывы свежего ветра донесся знакомый перестук конских копыт, звякнула уздечка. Колес, правда, не было слышно на гладком, подметенном автомобильным вихрем асфальте. Впереди, куда бежало шоссе, разрозненно сверкали огни недалекой придорожной деревни Будиловичи.

Мы остановились, немного подождали, пока из темноты, негромко постукивая подковами, появился тихий коник с одиноким седоком на возу, который лениво пошевеливал вожжами. Увидев нас на обочине, возчик насторожился, но молчал, видимо намереваясь проехать мимо.

— Вот кто нас подвезет, — без всякого приветствия сказал Ткачук. — Наверно, порожний, ага?

— Порожний. Мешки отвозил, — глуховато

послышалось с воза. — А вам далече?

— Да в город. Но хотя бы до Будиловичей довез.

— Это можно. Как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В девять автобус. Гродненский. Теперь который?

— Без десяти восемь, — сказал я, кое-как разглядев стрелки на своих часах.

Повозка остановилась. Ткачук, кряхтя, влез на нее, я примостился сзади. Сидеть было не слишком удобно, жестковато на голых, с остатками мусора досках, но я уже не хотел отставать от моего спутника, который устало вздохнул и свесил с повозки ноги.

— А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы. Эх, годы, годы...

— Издалека идете? — спросил возница. Судя по его глуховатому голосу, был он тоже немолод, держался степенно и как бы чего от нас ждал.

— Из Сельца.

— А-а, так с похорон, значит?

— С похорон, — коротко подтвердил Ткачук.

Возница встряхнул вожжами, конь прибавил шагу — дорога пошла вниз. Навстречу, по ту сторону мрачной, без единого огонька широкой низины все стригли в небе расходящиеся лучи автомобильных фар.

— А ведь молодой еще человек был учитель этот. Знал я его хорошо. В позапрошлом году в больнице вместе лежали.

— С Миклашевичем?

— Ну. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Больше про себя, а когда и вслух. Вот забыл того писателя... Помню, говорилось там, что если нет бога, так нет и черта, а значит, нет ни рая, ни пекла, значит все можно. И убить и помиловать. Вот как. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.

— Достоевский, — бросил Ткачук и обратился к вознице: — Ну, а ты, например, как понимаешь?

— Я-то что! Я человек темный, три класса образования. Но я так понимаю, что надо, чтобы в человеке что-то было. Стопор какой. А то без стопора дрянь дело. Вон в городе набросились на парня с дивчиной трое, чуть беды не наделали. Витька наш, хлопец из Будиловичей, вмешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.

— Побили?

— Не сказать, чтоб побили — один раз кастетом по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали — известный бандюга оказался.

— Это хорошо, — оживился Ткачук. — Смотри, не испугался. Один против троих. Когда такое было в ваших Будиловичах?

— Ну в Будиловичах, может, и не было...

— Не было, не было. Знаю я ваши Будиловичи — бедное село, выселки. Теперь что, теперь другое дело: под шифер да под гонт убрались, а давно ли на стрехах мох зеленел! Такое село на большаке, и что меня удивляло — ни одного деревца. Как в Сахаре какой. Правда, земля — один песок. Помню, как-то зашел — рассказали историю. Одного будиловчанина голодуха по весне прищемила, дошел на крапиве, ну и надумал на большаке разжиться. Ночью подстерег прохожего да и стукнул обушком по голове. Вон и теперь еще на околице возле камня крест стоит. Оказался — нищий с пустой торбой. А этот каторгу получил, так из Сибири и не вернулся. А теперь гляди ты — какой кавалер нашелся в Будиловичах. Рыцарь.

— Ну.

— А куда в школу ходил? Не в Сельцо?

— До пятого класса в Сельцо.

— Ну видишь! — искренне обрадовался Ткачук. — У Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать.

Машины быстро летели навстречу и еще издали ослепили нас сверкающим потоком лучей. Возчик заботливо свернул на обочину, лошадь замедлила шаг, и машины с ревом промчались мимо, стегнув по возу щебнем из-под колес. Стало совсем темно, и с полминуты мы ехали в этой тьме, не видя дороги и доверяясь коню. Сзади по шоссе быстро отдалялся-стихал могучий нутряной гул дизелей.

— Кстати, вы не досказали. Как оно тогда обошлось с Морозом, — напомнил я Ткачуку.

— О, если бы обошлось. Тут еще долгая история. Ты, дед, Мороза не знал? Ну, учителя из Сельца? — обратился Ткачук к вознице.

— Того, что в войну?.. А как же! Еще и моего племяша разом загубили.

— Это кого же?

— А Бородича. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Как не знать, знаю...

— Так я вот товарищу эту историю рассказываю. Значит, ты знаешь. А то можешь послушать, если не все слышал. В лесу небось не был? В партизанку?

— А как же! Был! — обидчиво отозвался человек. — У товарища Куруты. Возил раненых. Санитаром работал.

— У Куруты? Комбрига Куруты?

— Ну. От весеннего Николы в сорок третьем и до конца. Как наши пришли. Считай, больше года.

— Ну, Курута не нашей зоны.

— Мало что. Нашей не нашей, а был. Медаль имею и документ, — уже совсем разобиделся старик.

Ткачук поспешил смягчить разговор:

— Так я ничего, я так. Имеешь — носи на здоровье. Мы тут про другое... Мы про Мороза.

— Так вот, у Мороза первое время, в общем, все шло хорошо. Немцы и полицаи пока не привязывались, наверно, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести, так это судьба двух девочек. Тех самых, что когда-то домой отводил. Летом сорок первого, как раз перед войной, отправил их в пионерский лагерь под Новогрудок — организовывали тогда впервые межрайонные пионерские лагеря. Мать не хотела пускать, боялась, известное дело, деревенская баба, сама дальше местечка нигде не бывала, а он уговорил, думал сделать девчушкам хорошее. Только поехали, а тут война. Прошло уже столько месяцев, а о них ни слуху ни духу. Мать, конечно, убивается, да и Морозу из-за всего этого тоже несладко, как-никак, а все же и его тут вина. Мучит совесть,

а что поделаешь? Так и пропали девчонки.

Теперь надо тебе сказать про тех двух полицаев из Сельца. Одного ты уже знаешь, это бывший знакомый прокурора — Лавченя Владимир. Оказывается, был он не тем, за кого мы его поначалу приняли. Правда, в полицию пошел сам или принудили, теперь уже не дознаться, но зимой в сорок третьем немцы расстреляли его в Новогрудке. Дядька, в общем, оказался хороший, много добра нам сделал и в этой истории с хлопцами сыграл довольно пристойную роль. Лавченя был молодец, хоть и полицай. А вот второй оказался последним гадом. Не помню уже его фамилии, но по селам его звали Каин. И вправду был Каин, много бед принес людям. До войны жил с отцом на хуторе, был молодой, неженатый — парень как парень. Вроде никто про него, довоенного, плохого слова сказать не мог, а пришли немцы — переродился человек. Вот что значат условия. Наверно, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других — другая. Поэтому у каждого времени свои герои. Вот и в этом Каине до войны сидело себе потихоньку что-то подлое, и если бы не эта передряга, может, и не вылезло бы наружу. А тут вот поперло. С усердием служил немцам, ничего не скажешь. Его руками тут мно-

го чего наделано. Осенью раненых командиров расстрелял. С лета скрывались в лесу четверо раненых, из местных кое-кто знал, да помалкивал. А этот выследил, отыскал в ельнике земляночку и с дружками перебил всех ночью. Усадьбу нашего связного Криштофоровича спалил. Сам Криштофорович успел скрыться, а остальных — стариков родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал. Да мало чего! Летом сорок четвертого куда-то исчез. Может, где получил пулю, а может, и сейчас где-либо роскошествует на Западе. Такие и в огне не горят и в воде не тонут.

Так вот этот Каин все-таки что-то заподозрил вокруг Морозовой школы. Каким ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.

Однажды перед весной (снег уже начал таять) и нагрянула эта полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать детворы в одной комнатенке за двумя длинными столами. И вдруг врывается Каин, с ним еще двое и немец — офицер из комендатуры. Учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Ну, ясное дело, ничего не нашли — что можно найти у детишек в школе? Никого и не забрали. Только

учителю допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли. Но обошлось.

И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и тот переросток Бородич что-то задумали. В общем-то они были откровенны с учителем, а тут затаились даже от него. Однажды, правда, этот Бородич будто между прочим, намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть, мол, такая возможность. Но Мороз категорически запретил это делать. Сказал, что, если потребуется, пристукнут без них. Самовольничать в войну не годится. Бородич не стал возражать, вроде бы согласился. Но такой уж был этот хлопец, что если втемяшится что в голову, то не скоро расставался он с этой мыслью. А мысли у него всегда были одна отчаяннее другой.

Дальше мне уже рассказывал сам Миклашевич, так что можно считать, что все тут чистая правда.

Случилось так, что к весне сорок второго вокруг Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем. Ребята эти теперь все известны, на памятнике их имена в полном составе, кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу шел тогда пятнадцатый год. Коля

Бородич был самым старшим, ему подбиралось уж к восемнадцати. Еще были братья Кожаны — Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего, таким образом, шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет тринадцать. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда увидели, что на их школу и на их Алеся Ивановича насел этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, детишки без оружия, почти с голыми руками. Дурости и смелости у них хоть отбавляй, а вот сноровки и ума, конечно, было в обрез.

Ну и кончилось это, понятное дело, тем, чем и должно было кончиться.

Миклашевич рассказывал, что после того, как Мороз запретил трогать этого Каина, они посидели малость, да и взялись за свою затею втихомолку, тайно от учителя. Долго прикидывали, присматривались и наконец разработали такой план.

Я вроде говорил уже, что этот Каин жил на отцовском хуторе, через поле от Сельца. Почти все время отирался в местечке, но иногда приезжал домой — попьянствовать да позабавиться с

девками. Один приезжал редко, больше с такими, как сам, изменниками, а то и с немецким начальством. Тогда в здешних местах было еще тихо. Это потом уже, с лета сорок второго, загремело, и немцы не очень-то показывали нос в села. А в первую зиму держали себя нахально, отчаянно, ничего не боялись. В ту пору случалось, что Каин и на ночь оставался в хуторе, переночует, а назавтра утречком катит себе в район. Верхом, на санях, а то и на машине. Если с начальством. И вот ребята однажды подобрали момент.

Все случилось нежданно-негаданно, как следует не организовано. Ребятишки ведь неопытные. Да и откуда взяться опыту? Одна жажда мести.

Помню, была весна. С полей сошел снег, только в лесу да по рвам и ямам лежал еще грязными пятнами. В оврагах и на пашне было сыро и топко. Бежали ручьи, полные, мутные. Но дороги уже подсыхали, под утро порой жал небольшой морозец. Отряд наш малость увеличился, набралось человек полста: военные и местные пополам. Меня поставили комиссаром. То был рядовым, а то вдруг начальство, забот прибавилось не дай бог. Но молодой был, энергии хватало, старался, спал по четыре часа в сутки. В то время мы уже знали, предвидели — весной загремит, а

вот оружия было маловато, на всех не хватало. Где могли, всюду добывали, выискивали оружие. Посылали за ним, аж за сто километров, на государственную границу. Однажды кто-то сказал, будто на переправе через Щару прошлым летом наши, отступая, затопили два грузовика с боеприпасами. И вот Селезнев загорелся, решил вытащить. Организовал команду в пятнадцать человек, снарядил пару фурманок, руководить взялся сам — надоело сидеть в лагере. А меня оставил за главного. Первый раз оказался над всеми начальником, ночь напролет не спал, два раза посты проверял — на просеке и дальний, у кладок. Утром, только задремал в землянке, будят. Еле поднялся со своего хвойного ложа, гляжу. Витюня, наш партизан, долговязый такой саратовец, что-то толкует, а я спросонья никак не могу понять, в чем дело. Наконец понял: часовые задержали чужого. «Кто такой?» — спрашиваю. Отвечает: «А черт его знает, вас спрашивает. Хромой какой-то».

Услышав такое, я, признаться, встревожился. Сразу почувствовал: Мороз, значит, что-то стряслось. Сперва почему-то подумал о селезневской группе — показалось: с ней что-то недоброе, потому и прибежал Мороз. Но почему сам Мороз?

Почему не прислал кого из ребят? Хотя если б на свежую голову, так какое отношение имел Мороз к группе командира? Она даже не в ту сторону и выехала.

Встал, натянул сапоги, говорю: «Ведите сюда». И точно: вводят Мороза. В кожушке, теплой шапке, но на ногах туфли чуть не на босу ногу и мокрые до колен штаны. Не соображу никак, что случилось, а что плохое, это уж точно чувствую: весь взъерошенный вид Мороза красноречиво о том свидетельствует. Да и его неожиданное появление в лагере, где он никогда еще не был. Шутка ли, километров двенадцать отмахать по такой дороге. Вернее, без всякой дороги.

Мороз постоял малость, присел на нары, посматривая на Витюню: мол, не лишний ли. Я делаю знак, парень закрывает дверь с той стороны, и Мороз говорит таким голосом, словно похоронил родную мамашу: «Хлопцев забрали». Я не понял сначала: «Каких хлопцев?» — «Моих, — говорит. — Сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицай предупредил».

Признаться, тогда я ждал худшего. Я думал, что случилось что-то куда более страшное. А то — хлопцев! Ну что они могли сделать, эти его хлопцы? Может, сказали что? Или обругали кого?

Ну, дадут по десятку палок и отпустят. Такое уже бывало. В то время я еще не предвидел всего, что произойдет в связи с этим арестом морозовских хлопцев.

А Мороз немного успокоился, отдышался, закурил самосаду (раньше не курил вроде) и мало-помалу начал рассказывать.

Вырисовывается такая картина.

Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад полицай этот на немецкой машине с немцем-фельдфебелем, солдатом и двумя полицаями прикатил на отцовский хутор. Как было уже не однажды, на хуторе заночевали. Перед этим заехали в Сельцо, забрали свиней у Федора Боровского и глухого Денисчика, похватали по хатам с десяток кур — назавтра собирались везти в местечко. Ну, ребята все высмотрели, разведали и, как стемнело, огородами — на дорогу. А на дороге этой, если помнишь, недалеко от того места, где она пересекает шоссе, небольшой мосток через овражек. Мосток-то небольшой, но высокий, до воды метра два, хоть и воды той по колено, не глубже. К мостку крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. О, эти сорванцы

учли все, тут они были мастера. Тут у них все тонко было сработано.

Так вот, как стемнело, все шестеро с топорами и пилами — к этому мостику. Видно, попотели, но все же подпилили столбы, не совсем, а так, наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Машина переехать этот мосток уже не могла. Сделали все удачно, никто не помешал, не застукал: радостные, выбрались из овражка. Но как же всем спать: в такое время, когда будет лететь вверх колесами немецкая машина. Вот двое и остались ради такого момента — Бородич и Смурый Николай. Выбрали местечко поодаль в кустах и засели ждать. Остальных отправили по домам.

В общем, все шло, как и было задумано, кроме небольшой мелочи. Но, как видно, эта-то мелочь их и погубила. Во-первых, Каин в тот день запоздынился, проспал после пьянки. Рассвело, в деревне повставали люди, началась обычная суета по хозяйству. Миклашевич потом говорил, что они дома за всю ночь глаз не сомкнули и чем дальше, тем все больше тревожились: почему не прибегают дозорные? А дозорные терпеливо дожидались машину, которой все не было. Вместо нее на дороге утречком вдруг появляется фурманка. Дядька

Евмен, ничего не подозревая, катит себе по дрова. Пришлось Бородичу вылезать из своей засады и встречать дядьку. Говорит: «Не едьте, под мостом мина». Евмен перепугался, не стал очень интересоваться той миной и повернул в объезд.

Наконец, часов, может, в десять на дороге показалась машина. Как на грех, дорога была плохая, в лужах и выбоинах, скорости не было никакой, и машина тихо ползла, переваливаясь с боку на бок. Не было и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон, на мостике шофер стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, — как раз угодил под борт, и его придавило кузовом. Вытащили из-под машины уже мертвого.

А хлопцы как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях небось показалось, что всем фрицам и полицаям капут, машине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же выскочили, стали поднимать машину, и кто-то тогда заметил,

как в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана — больше ничего не удалось заметить. Но и этого оказалось достаточно.

В селе каждый слух облетает подворья молнией, через какой-то час все уже знали, что случилось на дороге у овражка. Каин прибежал за подводой везти труп немца в местечко. Мороз как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем.

Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уже не учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно, говорил после — все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появлялся. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичем, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии, но как быть дальше, если диверсия удастся, они просто не думали. И учитель тоже

не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы это так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят и ребят, и его самого. Но в деревне три десятка мужчин, думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверно, прежде всего надо было повидать Бородича, все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или, наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать.

Пока он сидел в ту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичем, передумал всякое. И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки — это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел: на пороге стоял полицай, тот самый Лавченя, про которого я уже говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему выпалил: «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад, не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала

ему подумалось — провокация. Но нет. И вид и тон Лавчени не оставляли сомнений: сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок, за свою палку — и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька, как увидел учителя, аж затрясся. Говорит: «Утикай, Алесь Иванович, перетрясли все село, тебя ищут». — «А ребята?» — «Забрали, заперли в амбаре у старосты, один ты остался».

Теперь-то уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина, к тому же кто-то из полицаев увидел его в овражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток, пацан, не мужчина. Ну, наверно, поговорили там, в районе, вспомнили Бородича и порешили взять. Ночью подкатывают к его хате, а тот дурень как раз обувает чуни. Целый день шатался по лесу, к ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице, сказали: все, мол, тихо, спокойно. Умный был парень, решительный, а осторожности ни на грош. Наверно, подумал: все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут. А вечером как раз прибегает Смурный, так и так, вызывает Алесь

Иванович. Только ребята стали собираться, а тут машина. Так и схватили обоих.

А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думается только: как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле не просто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденцию. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности: кто мог его сделать. Выходило: тот или этот. Тогда и хватали того и этого вместе с их свояками и приятелями. Мол, одна шайка. И знаешь, редко ошибались, гады. Так и было. И если и ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали. Карали всех скопом — и виноватых и невиновных.

До сих пор неизвестно в точности, как это Лавчене удалось предупредить Мороза. Наверно, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импровизированно, по ходу дела. Наверно, Каин допетрил, что где ребята, там и учитель. И вот Лавченя, которого мы считали подлюгой, улучил момент, буквально каких-то десять минут, и забежал, предупредил. Спас

Мороза.

Вот как оно получилось.

А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза: так и так, что будем делать? Надо, наверное, забирать учителя в отряд, не пропадать же человеку. Говорю так, а Селезнев молчит. Конечно, боец из учителя не очень завидный, но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки (никто ее брать не хотел, бракованную) и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам — словно в воду опущенный. И винтовка никак не подействовала. Бывало, вручаешь кому оружие, так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия — самый большой в жизни праздник. А тут ничего подобного. Два дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал, все носил в руках. Как палку какую.

Так прошло еще два или три дня. Помню, хлопцы копали третью землянку на краю нашего стойбища, под ельничком. Народу по весне при-

бавилось, в двух стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем. И тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю, говорит: «Командир зовет». — «А что такое?» — спрашиваю. Говорит: «Ульяна пришла». А Ульяна эта связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая, боевая, язычок не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней не подкатывались — никому никакой поблажки, любого отбреет, только держись. Потом, летом сорок второго, с Марией Козухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали, уже и заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Козухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же...

Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я как услышал об этом, сразу сообразил: дело плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделе. А самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверно, это и был тот самый крайний случай. Иначе бы не пришла.

Я, значит, к командирской землянке и уже на ступеньках слышу — разговор серьезный. Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом. Ульяна тоже не отстает. «Мне сказали, а я что, молчать буду?» — «Во вторник передала бы». — «Ага, до вторника им всем головы пооткручивают». — «А я что сделаю? Я им головы поприставляю?» — «Думай, ты командир». — «Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу». — «И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет».

Захожу, оба смолкают. Сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю как можно ласковее: «Что случилось, Ульянка?» — «Что случилось — требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен». — «Ты слышишь? — кричит командир. — И она с этим примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!» Ульяна молчит. Она уже накричалась и, наверно, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный Мороз! Помню как сейчас, именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней — будет от чего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать Мороза в село. Сдурели мы, что ли. Ясно, что и мальцов не отпу-

стят, и его кокнут. Знаем мы эти штучки. Девятый месяц под немцами живем. Насмотрелись.

А Ульяна рассказывает: «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша — волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: «Ульяночка, родненькая, помоги. Ты знаешь как». Я им толкую: «Ничего не знаю: куда я пойду?» А они: «Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». Я свое твержу: «Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович. Может, удрал куда, где я его искать буду?» — «Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим». Ну что мне оставалось делать?»

Да. Вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим, что пни, а Ульяна встает: «Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо. А то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень».

Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, а я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу

— с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица нету. Глянул на него и сразу понял: все слышал. «Зайди, — говорю, — к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого ей определить в провожатые, пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут двадцать, не больше. Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бегает из угла в угол, гимнастерка расстегнута, глаза горят. Кричит на Мороза: «Ты с ума сошел, ты дурак, псих, идиот!» А Мороз стоит у дверей и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже и не слышит командирского крика.

Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело. А они на меня ноль внимания. Селезнев все ярится, грозит Мороза к елке поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное.

А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слыхал, хочет в село идти?» — «Зачем?» — «А это ты у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только вздыхает. Тут уж и я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда самое безрассудное самоубийство. Так и сказал Морозу,

как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И все-таки надо идти».

Тут мы оба взъярились: что за сумасбродство? Командир говорит: «Если так, я тебя посажу в землянку. Под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверно, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устало так говорит: «Ладно, иди подумай. Через час продолжим разговор».

Ну, Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет: мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но, чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу с ним сделать?

Посидели так, Селезнев и говорит со строгостью в голосе, к которой я все еще не смог до конца привыкнуть; «Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на Щару. Поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет».

Думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать отказаться от этой глупой затеи. Конечно, я понимал: жаль хлопцев, жаль матерей. Но

мы помочь не могли. Отряд еще не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон — немцы и полиция. Попробуй сунься.

Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в Сельцо. Но вот не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до Мороза.

Сидим, молчим, думаем и вдруг слышим голоса неподалеку, возле первой землянки. Кто-то пробежал мимо нашего оконца. Прислушался — голос Броневича. А Броневич только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым — было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на три дня, и вот вечером они уже тут.

Первым, учуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что же мы видим? Сидит перед землянкой Броневич, а рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял: мертвый. А Броневич, истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев, те обстреляли и вот убили сержанта. А славный был парень

этот Пекушев, из пограничников. Хорошо еще, Броневич как-то выкрутился и приволок тело. У самого телогрейка на плече прострелена.

Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали не приведи бог. Просто в уныние впали все. И кадровые и местные. И правда, хороший был парень: тихий, смелый, старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал — где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же...

Что поделаешь, начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, над обрывом возле ручья, выкопали могилу. Под сосной, в песочке. Гроба, правда, не было, могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. Назавтра построили отряд, шестьдесят два человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлицы собрали, по три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступали. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще, и даже не по одному. Бывало,

по десять в одну яму закапывали. А то и без ямы — листвой или иглицей присыплешь, и ладно. В блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто — яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что по этому Пекушеву. Привыкли.

Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны я был доволен. Даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко: так и так, нет Мороза. С ночи нет. «Как с ночи? — взвился Селезнев. — Почему не доложили сразу?» А Прокопенко только пожимает плечами: мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть. В одиночестве.

Тут уж, знаешь, нам дурно стало.

Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его как только умел. А он-то умел. А потом вызверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверно, заслужил. Спустились в землянку, Селезнев приказал позвать начальника штаба — был такой тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов, из кадровых — и команди-

ров взводов. Все собрались, уже знают, в чем дело, и молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал и говорит: «Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток».

Вижу, хлопцы носы повесили. Никому не хочется менять лагерь, очень уж подходящее место: тихое, в стороне от дорог. И счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. А тут из-за какого-то хромого идиота... Оно и понятно, им-то кто этот Мороз? После всего, что случилось, — разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто тут, знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо: не выдаст. И когда уже все готовы были согласиться с майором, я и говорю: «Не надо менять лагерь». Селезнев на меня как на второго идиота накинулся: «Как это не надо? Где гарантия?» — «Есть, — говорю, — гарантия. Не надо».

Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и

не надо этого. Я только уперся на своем: лагерь менять не следует.

Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное заверение или очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только намерились рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора — со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет дальше.

Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.

Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма — должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ.

— Что, приехали?

— Ага, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного, у почты остановка.

— Знаю, не первый раз, — сказал Ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта. — Ну, спасибо, дед, за подвоз. С нас причитается.

— Не за что. Конь колхозный, так что...

Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на возу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего, светлые отрезки улицы чередовались с широкими полосами тени, и мы шли, попадая то в свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о Сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затарахтел двигатель, мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо; свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новою мыслью посмотрел в

ту сторону.

— Может, зайдем, а?

— Давайте, что ж, — покорно согласился я.

Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик.

— Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище отгрохали. Ей-бо, в этой не был еще, — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам.

Я смолчал — к чему оправдываться: все мы грешны в этом малопочтенном деле.

Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей.

— Ты садись. Я сейчас, — кивнул мне на ходу Ткачук.

— Нет, вы садитесь. Я помоложе.

Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако:

— Два по сто, и хватит. И может, пива еще? Если есть.

Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только «Міцнэ», и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты — сказала, свежие, только недавно привезенные.

Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился.

— А беленькой не нашлось? Терпеть не могу этих чернил.

— Ничего не поделаешь, берем, что дают.

— Да уж так...

Мы молча выпили по стакану «чернил». Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал, вместо этого закурил из моей мятой пачки.

— Беленькая, она, конечно, подлая, но вкус имеет. «Столичная», скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная. Хлебная. Из хороших рук если. Эх, умели когда-то ее делать! Вкуснота, не то что эта химия. И градус, я тебе доложу, имела, ого!

— А вы что... уважали?

— Было дело! — вскинул он на меня покрасневшие глаза. — Когда помоложе был.

Расспрашивать его насчет того «дела» я не решился — я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в Сельце. Но он как

будто потерял уже всякий интерес к ним, курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них, в ватнике, так двинул столом, что с него едва не слетела посуда.

— Набрались. Того, лысоватого, немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.

— Бывает.

— Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил, голова и закружилась. От гордости! Ну и догордился. Трояк уже отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватали — брали хитростью. И обошли. Обскакали. Вот так. Ну что? Досказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы!.. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего бы это, не знаешь?

Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально-задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучала в его душе.

— Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал. Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост. И не проверены. А то и путаные, противоречивые. Тут уж осторожненько, бокомбоком — и подальше от греха. Не так ли ваш брат корреспондент?.. Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже — это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы? Архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам?..

Да. А в Сельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы хата стояла, теперь уже нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок: и на немцев работал, и с нашими знался. Ну а такое, знаешь

же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район и назад уже не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то и загнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воюют, детей на заклание обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же; правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородин, говорит: «Я подпиливал. Чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас».

Он взял все на себя, наверно думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но и эти холуи не круглые идиоты — скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза.

Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?

И вот в эту самую пору, в разгар пыток является

сам Мороз.

Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было нехолодно, только мокровато от росы. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь — и во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет: «Стой, назад!» — да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я — Мороз».

Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали: «Не надо было, учитель». А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше.

Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что, когда в сорок четвертом турнули наконец немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие

бумаги: документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Алеся Ивановича Мороза. Сам видел: обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля сорок второго года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальству, наверно, тоже. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было чем похвалиться старшему полицаю. И ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта.

Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом сорок второго, когда настали для нас горячие денечки и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подпись и спрашивает: «Как будем показывать

Мороза? Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего два дня в партизанах побыл». Тут, естественно, я возразил: «Как это не показывать? Что же он тогда, сидя на печке, умер?» Селезнев, помню, нахмурился — он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову: «А что крутить! Так и напиши: попал в плен. А дальше не наше дело». Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы это понял? Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти две бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины.

Да. А что же в Сельце? «Бандиты» оказались все в сборе, главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех семерых из амбара, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и два полицая взяли его под руки. Остальных построили по два и под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич.

Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. Решили — схватили и его. Кстати, до самого конца никто

из них иначе и не — думал — считали, не убережся учитель, ненароком попался к немцам. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью и пятнадцать лет или шестьдесят — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же Сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. А вот их будут помнить, и уже это должно быть для них высшей наградой — самой высокой из всех возможных в мире наград.

Наверно, это все-таки мало их утешало. Но то обстоятельство, что рядом был их учитель, их всегдашний Алесь Иванович, как-то облегчало их незавидную судьбу. Хотя, конечно, они бы многое, наверное, дали, чтобы он спасся.

Рассказывали, что, когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь». Немец ему парабеллумом

в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось: крик, слезы, проклятья. Ну да им что — повели хлопцев.

Вели по той самой дороге, через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами: впереди Мороз с Павликом, за ним близнята Кожаны — Остап и Тимка, потом однофамильцы — Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородича. Полицаев, рассказывали, было человек семь и четыре немца.

Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть, — что же еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади. А вокруг — поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно. Хоть бы успели малость пожить, а то по четырнадцать-шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?

Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя: о чем он? А Мороз снова: «Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты». Павел догадался. Вообще-то бегать он был мастак, но именно — был. За три дня в амбаре без еды, в муках и пытках умение его, конечно, поубавилось.

Все-таки слова Алеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги задрожали. Показалось тогда, что Мороз что-то знает. Если так говорит, то наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать.

А лесок вот уже — рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок-то не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что, говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов двадцать, потом десять, пять. Вот уже и лесок — ольшаник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверно, именно эту низинку и имел на примете Мороз. Дорога узенькая, на фурманку, не больше,

два полицая идут впереди, двое по сторонам. В поле они держались чуток подальше, за канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверно, поэтому Мороз и не сказал ни слова. Молчал, молчал, да как крикнет: «Вот он, вот — смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него подучилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чащобу — в лес.

Несколько секунд он все-таки для себя вырвал, полицаи прозевали тот самый первый, самый решающий момент, и парень оказался в чаще.

Но спустя три секунды кто-то ударил из винтовки, потом еще.

Двое бросились по кустам вдогонку, поднялась стрельба.

Бедный, несчастный Павлик! Он-то не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлялся, что это так ударило его сзади промеж лопаток, и отчего так не вовремя подкосились ноги. Это его больше всего удивило, подумал: может, споткнулся. Но встать он уже не смог, так

и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике.

Что было потом, рассказывали люди, — слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел, а те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла. Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Алесь Иванович уже не поднялся. Но до смерти забить не решились — учителя надо было доставить живым, — и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику, сапогом перевернул его лицом кверху, видит — мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.

Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала это та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там, старой, понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, неживой, и даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому, тот,

ни слова не говоря, запряг лошадь — и к батьке Павлика.

И тут отец молодцом оказался, не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал, сам натерпелся, а сына вынянчил. Спас парня от гибели — ничего не скажешь.

А тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще пять дней. Отделали всех — не узнать. В воскресенье, как раз на первый день пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину — толстый такой брус, получилось подобие креста, и по три с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, как бы не в сорок шестом, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к Сельцу.

Из семерых чудом уцелел один Миклашевич. Но здоровья так и не набрал. Молодой был — болел, стал постарше — болел. Мало того, что грудь прострелена навылет, так еще столько времени в талой воде пролежал. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился, все курорты объездил. Но что курорты! Если своего здоровья

нет, так никто уже не даст. В последнее время стало ему получше, казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны, откуда не ждал. Сердце! Пока лечил легкие, сдало сердце. Как ни берегся от проклятой, а через двадцать лет все-таки доконала. Настигла нашего Павла Ивановича.

Вот такая, браток, история.

— Да, невеселая история, — сказал я.

— Невеселая что! Героическая история! Так я понимаю.

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Или ты не согласен? — уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным, как там, за столом в Сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы двух подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами. Те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание к себе, Ткачук нахмурился.

— Ладно, пошли отсюда.

Мы вышли на крыльцо. Ночь еще потемнела, или это так показалось со свету. Лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам Ткачука.

Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой:

— Что, есть хочешь? Нет ничего. Ничего, брат. Поищи еще где-нибудь.

И по тому, как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверно, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо нам было заходить в эту чайную. Тем более по такому времени. Теперь уже была половина десятого, автобус, наверно, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестным. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его, — мыслями же своими я целиком находился в давнем довоенном Сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня.

А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в Сельце, впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливится — подъедем, а нет, будем топать до города. Осталось уже немного.

Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина Ткачука ярко осветилась в потемках от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту.

— Может проголосуем? — предложил я, сходя на обочину.

Ткачук оглянулся, и в электрическом луче я увидел его недовольное, расстроенное лицо. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в «червоном міцном».

В какой-то момент я растерялся и не поднял руки, машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это «газик». Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги; какое-то предчувствие подсказало — это для нас.

И действительно, впереди послышался обращенный к Ткачуку голос:

— Тимох Титович!

Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожидан-

ную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытой дверцу, сказал:

— Полезайте вовнутрь. Там свободно.

Я, однако, помедлил, поджидая Ткачука, который неторопливо, вразвалку подходил к машине.

— Что же это вы так задержались? — обратился к нему хозяин «газика», и я только теперь узнал в нем заведующего районо Ксендзова. — А я думал, вы давно уже в городе.

— Успеется в город, — пробурчал Ткачук.

— Ну залезайте, я подвезу. А то автобус уже прошел, сегодня больше не будет.

Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро «газика», нащупал лавку и сел за бесстрастно-неподвижной спиной шофера. Казалось, Ткачук не сразу решился последовать за мной, но, наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу.

— Поехали.

Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская

нас, парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось, шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами.

Заведующий районо повернулся вполоборота и сказал, обращаясь к Ткачуку:

— Зря вы там, за столом, насчет Мороза этого. Непродуманно.

— Что непродуманно? — сразу недобро напрягся на сиденье Ткачук, и я подумал, что не стоит опять начинать этот нелегкий для обоих разговор.

Ксендзов, однако, повернулся еще больше — казалось, у него был какой-то свой на это расчет.

— Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано...

— А его и не репрессировали. Его просто забыли.

— Ну пусть забыли. Забыли потому, что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле, — оживился Ксендзов, — что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

— Ни одного.

— Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал — безрассудное...

— Не безрассудное! — обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо.

Но, как видно, у Ксендзова тоже что-то накипело за вечер, и теперь он хотел воспользоваться случаем и доказать свое.

— Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? О Миклашевиче говорить не будем — Миклашевич случайно остался в живых, он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом, и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

— Жаль, что не видите! — чужим, резким голосом отрезал Ткачук. — Потому что близорукий, наверно! Душевно близорукий!

— Гм... Ну, допустим, близорукий, — снисходительно согласился заведующий районо. — Но ведь не я один так думаю. Есть и другие...

— Слепые? Безусловно! И глухие. Невзирая на посты и ранги. От природы слепые. Вот так! Но ведь... Вот вы скажите, сколько вам лет?

— Ну, тридцать восемь, допустим.

— Допустим. Значит, войну вы знаете по газе-

там да по кино. Так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал, да так и не вырвался. Так почему же вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы — инженеры войны. И про Мороза, прежде всего нас спросить надо бы...

— А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза, — загорячился и Ксендзов.

— Подписал. Потому что дураком был, — бросил Ткачук.

— Вот видите, — обрадовался заведующий районо. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись назад лицом, жар спора захватывал его все больше. — Вот видите. Сами и написали. И правильно сделали, потому что... Вот теперь вы скажите: что было бы, если бы каждый партизан поступал так, как Мороз?

— Как?

— В плен сдался.

— Дурак! — зло выпалил Ткачук. — Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину! — закричал он шоферу. — Я не хочу с вами ехать!

— Могу и остановить, — вдруг многообещающе объявил хозяин «газика». — Если не можете без

личных выпадов.

Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать — ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть.

— Тимофей Титович, подождите. Зачем же так...

— Действительно, — сказал Ксендзов и отвернулся. — Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте.

— Что в другом! Я не хочу с вами об этом говорить! Вы слышите? Никогда! Вы — глухарь! Вот он — человек. Он понимает, — кивнул Ткачук в мою сторону. — Потому что умеет слушать. Он хочет разобраться. А для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем, если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...

Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее и, должно быть, теперь для него

самое главное.

— Мороза нет. Не стало и Миклашевича — он понимал прекрасно. Но я-то еще есть! Так что же вы думаете, я смолчу? Черта с два. Пока живой, я не перестану доказывать, что такое Мороз! Вдолблю в самые глухие уши. Подождите! Вот он поможет, и другие... Есть еще люди! Я докажу! Думаете, старый! Не-ет, ошибаетесь...

Он еще говорил и говорил что-то — не слишком вразумительное и, наверно, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию. Но, не встретив на этот раз возражений, Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксендзов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор, шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами...

Мы подъезжали к городу.

*1971*